**Студенты**

Приказом директора Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена № 215 от 9 сентября 1941 года я был «переведен на 2-ой курс исторического факультета с освобождением платы за обучение, со стипендией, как отличник учебы и систематически работающий на оборонных работах», и значился в списках студентов с октября 1941-го по 19 марта 1942 года. По состоянию здоровья не был призван в действующую армию, но каждый, кто остался в осажденном городе, чувствовал себя солдатом.

На базе нашего института, где разместился госпиталь, был создан отряд противовоздушной и противопожарной обороны. Я стал его добровольным бойцом. По ночам дежурили на крышах домов и гасили вражеские «зажигалки».

Питались по продовольственной карточке в столовой на Невском. С приближением зимы работы в госпитале прибавлялось, а хлебный паек уменьшался. 20 ноября он достиг минимальных размеров – 250 граммов по рабочей и 125 – по иждивенческой и детской карточкам. В столовой по талону отпускали дрожжевой суп, ложку чечевичной каши, сдобренной чайной ложкой хлопкового масла.

Новый, 1942 год мы встречали в студенческом общежитии на улице Желябова. Когда-то строгий, торжественный вестибюль опустел, через выбитые стекла задувал снег. В главную лестницу, которая вела на верхние этажи, попала фугаска, и она рухнула.

Учебные занятия на факультете продолжались, но проводились они не в прежних аудиториях, а на первом этаже или в подвальных помещениях, в наскоро оборудованных классных комнатах. При минусовой температуре видные советские историки читали лекции, принимали зачеты и экзамены.

Но силы студентов и преподавателей таяли с каждым днем. К голоду прибавился холод. Спасительная чугунная печка — «буржуйка» с трубой, выведенной в форточку или пролом стены, требовала топлива. Собирали по аудиториям, коридорам, чердакам, подвалам все, что могло гореть: мебель, паркет, книги. А если не было «буржуйки», устраивали посреди комнаты костерок в виде тагана, огражденный металлической утварью, и топили «по-черному».

8 января меня постигла беда: исчезла продовольственная карточка. До следующего месяца лишился даже крохотного кусочка хлеба. На восстановление карточки не было надежды. Кто-то посоветовал сходить на Мытнинский рынок. Там можно было с рук купить дуранду или пайку хлеба за сто-сто пятьдесят рублей или выменять на какие-либо вещи. Но у студентов не было ни денег, ни вещей.

Усталый. Без надежды что-либо поесть, я добрался до института и поселился в подвале в здании истфака. Мне досталось место у входа в длинное, мрачное помещение с низким полусводчатым потолком. По обе стороны с проходом посередине стояло более ста кроватей. Топчанов. У некоторых были тумбочки. Матрацы, тюфяки, одеяла, подушки попали сюда из общежития. В конце коридорообразного помещения стояла огромная коптилка, похожая на факел. Свет от нее то ярко вспыхивал и освещал убогое убежище, бледные лица людей, то погружал его в дремотный полумрак.

Здесь было относительно тепло. Уличные звуки сюда почти не доходили. Так я и лежал. На третий день девушка из санитарно-бытового звена дала мне кружку кипятка. Соседка по койке Лена с литфака поделилась своим скудным пайком. Я зарылся в тряпье, согрелся и заснул. Лена еще не раз предлагала поделиться со мной своим пайком.

Для спасения от голодной смерти ученых, деятелей литературы и искусства в городе открыли боле 200 госпиталей-стационаров со сроком пребывания в них 8-10 дней. Страдающих дистрофией кормили и лечили. Был открыт такой стационар при институте имени Герцена, на базе медпункта. Среди других в стационар определили и меня — скромного студента.

Я пробыл в стационаре до 1-го февраля, пока не получил новую хлебную карточку. Мое появление на истфаке было для всех неожиданностью, так как многие считали меня умершим. Своих девчат-однокурсниц узнавал по голосу: по внешнему виду они напоминали старух. Из двадцати парней в живых осталось трое.

Потрясла меня смерть Вани Фиалковского. Он давно уже не ходил на завод, где работал токарем. Не помог и студень, приготовленный из столярного клея. Он лежал навзничь на топчане рядом с «буржуйкой». Близорукие глаза были скрыты толстыми линзами очков. Под подушкой лежала нетронутая пайка хлеба.

Прошла ночь, чуть теплилась печурка. Утром девчата собрались в булочную, подошли к Ивану. Поднесли к глазам зажженную спичку. Зрачки не реагировали на свет. В груди еще сохранялись остатки тепла, но пульс не прощупывался. Так умер наш милый славный Ванюша, добрый, отзывчивый парень.

Днем к подъезду подошла военная машина. Грузили в нее трупы. Мы завернули Ивана в простыню и байковое одеяло и осторожно положили в кузов. Я попросил у водителя сопровождать товарища до Волкова кладбища.

Из кузова автомашины я увидел осажденный Ленинград, притихший и безлюдный. Среди сугробов к домам вели редкие тропинки. Вдоль Невского пролегла глубокая колея. Дома зияли проломами, в окнах не было стекол, оконные проемы второго этажа закрыты мешками с песком. Где-то на улице Чайковского горел дом. Тушить было нечем: вода отсутствовала.

Весь февраль шли разговоры о предстоящей эвакуации института, составлялись списки, назначались сроки отъезда, но лишь в начале второй декады марта я получил эваколист и направление куда-то на Курган. Собрал небольшой чемодан. Его содержимое состояло в основном из книг, фотографий. К вечеру отправился на Финляндский вокзал пешком. Были оттепель, гололед. Нести чемодан не хватало сил, поэтому волоком тащил его несколько километров.

Военные в овчинных полушубках на руках выносили нас из вагонов и рассаживали на машины, покрытые брезентовым тентом. По ледяной трассе взад и вперед непрерывным потоком двигались автомашины. Благополучно добрались до поселка Лаврово, а дальше поезд помчал нас через Волхов, Бабаево на Ярославль.

Врачи сняли меня с поезда, который следовал на восток (дескать, все равно дорогой умрет) и отправили в Рыбинск, где жили тогда мои родители.

Так счастливо закончилась для меня эпопея первой блокадной зимы.

Источник: «Память. Письма о войне и блокаде» — Л.: Лениздат, 1985.